



Читатель и чтение в России «долгого» восемнадцатого века

[Рец.: Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia. Volume 1. Edited by Damiano Rebecchini and Raffaella Vassena. Milano: Università degli Studi di Milano, 2020]*

A Reader and Reading in 'Long' Eighteenth-Century Russia

[Rev. of: Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia. Volume 1. Edited by Damiano Rebecchini and Raffaella Vassena. Milano: Università degli Studi di Milano, 2020]

Сергей Викторович Польской

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
Институт всеобщей истории РАН,
Москва, Россия

Sergey V. Polskoy

HSE University;
Institute of World History,
Russian Academy of Science,
Moscow, Russia

Резюме

Первый том коллективной монографии «Читающая Россия. Истории чтения в современной России» посвящен «долгому» восемнадцатому веку и включает в себя предисловие Д. Ребеккини и Р. Вассены ко всему трехтомному изданию и восемь глав, написанных известными исследователями русской культуры, литературы и истории. В первых главах Д. Уо рассматривает историю чтения в допетровский период, Г. Маркер проблематизирует основные вопросы изучения истории чтения в России XVIII в., К. Осповат прослеживает динамику

* Рецензия была подготовлена в рамках программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2022 г.

Цитирование: Польской С. В. Читатель и чтение в России «долгого» восемнадцатого века // *Slověne*. 2023. Vol. 12, № 1. С. 344–362.

Citation: Polskoy S. V. (2023) A Reader and Reading in 'Long' Eighteenth-Century Russia. *Slověne*, Vol. 12, № 1, p. 344–362.

DOI: 10.31168/2305-6754.2023.1.11

политики чтения от Петра I до Елизаветы I. Р. Боден обращается к основным изменениям в практиках чтения при Екатерине II, А. Зорин демонстрирует «революционные» изменения среди дворянских читателей, произошедших благодаря литературе сентиментализма, Е. Кислова исследует круг чтения образованного духовенства, а Б. Григорян изучает развитие образа читателя в русских журналах 1760–1830-х гг. Завершает том глава С. Франклина о городской графосфере в трех разных столетиях: от петровских триумфальных арок через коммерческие вывески середины XIX в. он приходит к надписям советского города. В целом, как и все издание, рецензируемый том является первым крупным исследованием истории чтения в России, охватывающим длительный период и суммирующим результаты отдельных штудий.

Ключевые слова

история чтения, грамотность, рукописная традиция, вербальные тексты, вокализованное чтение, визуальное чтение, сентиментализм, образ читателя, графосфера, читательские сообщества, читающая публика, Просвещение, секуляризация, русская культура, русская литература, XVIII век

Abstract

The first volume of the collective monograph “Reading Russia. The History of Reading in Modern Russia”, is focused on the ‘long’ eighteenth century. It includes a preface by D. Rebecchini and R. Wassena to the entire three-volume edition and eight chapters written by famous researchers of Russian culture, literature and history. In the first chapters, D. Waugh considers the history of reading in the pre-Petrine period, G. Marker problematizes key issues of studying the history of reading in eighteenth-century Russia, K. Ospovat traces the dynamics of reading policy from Peter I to Elizabeth I. R. Bodin discusses the main changes in the reading habits in the second half of the century, A. Zorin demonstrates the «revolutionary» changes among the nobility due to the sentimentalism literature, E. Kislova researches the reading habits of the educated clergy, and B. Grigoryan studies the reader's image development in the Russian magazines of 1760–1830-ies. S. Franklin's chapter discusses the urban graphosphere in three different centuries: from the triumphal arches of Peter the Great, through the commercial signs of the mid-nineteenth century, he arrives at the inscriptions of the Soviet city. Overall, like the entire publication, the reviewed volume is the first major study of the history of reading in Russia, covering a long period and summarizing results of individual studies.

Keywords

history of reading, literacy, manuscript tradition, verbal texts, vocalized reading, visual reading, sentimentalism, reader image, graphosphere, reading communities, reading public, Enlightenment, secularisation, Russian culture, Russian literature, 18th century

В последнее время междисциплинарная *история чтения* становится важнейшим подходом к изучению культуры, в том числе и культуры повседневности. Она заставляет историков, филологов, литературоведов по-новому формулировать вопросы и расставлять акценты, обращаясь не к традиционным вопросам производства текстов, а к проблемам, связанным с их потреблением и усвоением. При всей предметной важности объект *истории чтения* может вызвать закономерные

сомнения, ведь в отличие от традиционной *истории литературы* или *истории книги*, которые изучают вещи куда более определенные и вполне материальные, ее объект на первый взгляд кажется несколько эфемерным и расплывчатым. Мишель де Серто, чей дух, по словам Гари Маркера, витает над всей рецензируемой книгой, «хотя и в качестве неназванной музыки» [Rebecchini, Vassena 2020: 79]¹, противопоставлял *письмо* и *чтение* как две по-разному устроенные формы социальной деятельности: если письмо изначально сопротивляется времени, устойчиво и призвано закрепить и сохранить, то чтение едва уловимо, оно плохо хранит то, что приобретает, а сам читатель «не имеет места», он постоянно ускользает и от принуждения, и от исследователя [Certeau 1990: 251]. Но как тогда возможна собственно *история чтения*, если ее объект столь подвижен и зыбок? Какие источники мы можем использовать и какие вопросы можно поставить для того, чтобы *история чтения* стала репрезентативной и верифицируемой дисциплиной? Эти методологические вопросы встают перед каждым исследователем, который обращается к *истории чтения*. Они не стали исключением и для авторов первого обобщающего труда по истории чтения в России.

Редакторы вышедшего в 2021 г. трехтомника вполне справедливо утверждают, что эта первая попытка написать и систематизировать историю чтения в России от XVIII в. до наших дней. Цель объединила более трех десятков исследователей, которые используют разные подходы и принципы, обращаясь к различным аспектам истории чтения в имперской, советской и постсоветской России. Первый том издания посвящен «долгому» восемнадцатому веку и включает в себя предисловие ко всему изданию и восемь глав, написанных известными исследователями русской культуры.

Во вступительной статье Дамиано Ребеккини и Рафаелла Вассена формулируют свое понимание чтения, описывают тот круг исследовательских вопросов, к которым обращаются авторы исследований во всех трех томах издания, проблематизируют возможности и функции *истории чтения* и пытаются выявить эвристическую ценность различных источников. Отмечая, что у авторов нет общей теоретической базы и они не разделяют одного общего исследовательского подхода, редакторы полагают, что это скорее преимущество книги, поскольку эта эпистемологическая разногласица позволяет продемонстрировать возможности разных подходов к изучаемому предмету. В то же время Д. Ребеккини и Р. Вассена пытаются дать общее определение понятию чтения, подчеркивая его неуловимый и противоречивый характер; они утверждают, что чтение — это «процесс визуальной встречи с письменным текстом», «в котором присутствует определенный уровень интерпретации» (р. 13). При этом, кроме собственно книг и журналов, читать можно самые разные виды текстов от визуальных изображений до надписей на улицах городов (граффити, транспаранты триумфальных арок, вывески магазинов и т. д.). Не менее важны и способы чтения: авторы предисловия напоминают, что на протяжении веков подавляющее большинство неграмотного населения получало информацию с помощью вокализированного чтения (от чтения богослужебных текстов в церкви до оглашения

¹ Далее при ссылках на рецензируемую книгу указываем только номера страниц в круглых скобках. Перевод цитат наш.

правительственных актов) и устные практики долго сохраняют свое значение для передачи информации в России, так же как «чтение» изображений неграмотными (лубок, икона, книжные или журнальные иллюстрации и т. д.).

Целью представленного коллективного исследования, по мнению редакторов, является стремление «пролить свет на процессы усвоения и присвоения письменного слова русскими читателями, которые были определены культурными и социальными условиями, характерными для русской и советской культуры в последние три века» (р. 14). Исходя из определения чтения Роже Шартье и Гульельмо Кавалло («практики, которые всегда реализуются в конкретных действиях, местах, привычках» [Кавалло, Шартье 2008: 10–11]) задачи исследователей оказываются связаны с изучением изменений «действий, мест и привычек тех читательских сообществ, которые их породили» (р. 14). Пытаясь обозначить некоторые характерные черты истории чтения в России, редакторы подчеркивают, что, в отличие от других стран Европы, государственная власть играла в практиках чтения здесь куда более значительную роль, чем церковь. Важнейшим институтом, который определял государственную политику чтения, была школа, которая оставалась ведущим «местом» формирования практик чтения и контролировалась государством на протяжении всего изучаемого периода. При этом меньшее внимание авторы тома уделяют другому «пространству чтения» — библиотекам и собственно издательским практикам, полагая, что связь между производством текстов и их потреблением отнюдь не линейна. Важно отметить, что различные формы контроля над чтением со стороны государства вели к тому, что читательские сообщества в России были не только мало развиты, но и практиковали вместо инклюзивности и публичности, характерной для Запада, ограничения и социальную закрытость, что во многом было связано с попытками исключить вторжение государства в приватизируемую сферу чтения. Завершает «Введение» раздел, посвященный источникам, которые наиболее часто использовались в представленных томах. При этом Д. Ребеккини и Р. Вассена отмечают определенный интерпретационный конфликт между двумя описательными моделями, чаще всего используемыми исследователями: с одной стороны, авторы подчеркивают дисциплинарные функции чтения, а с другой — его освободительную направленность по отношению к господствующим идеологиям, и такое противоречие, считают редакторы, связано с использованием разных типов источников. Но «мог ли другой набор источников дать иную картину?» — задаются они вопросом, указывая на то, что большая часть тех источников, на которых уже давно построено изучение истории чтения в Западной Европе или не доступны, или мало репрезентативны. Так, например, анализ циркуляции книг, который мог быть основан на завещаниях и каталогах частных библиотек, ограничен фрагментарностью и неполнотой этих источников в России. При этом использование количественных источников применительно к истории чтения вызывает определенный скепсис редакторов, поскольку этот тип источников не дает нам понимания того, *как* распространялись и читались книги и журналы. Так, изучение списков подписчиков не способно ответить на вопрос о том, кто действительно читал текст, поскольку знатные подписчики могли даже не открывать книгу, в то время как она часто «ходила по рукам» других людей, не столь состоятельных, которые никак не отмечали свое знакомство с ней. Тексты

программного характера (введения, предисловия переводчиков, обзорные статьи и т. д.) как источники обладают определенной тенденциозностью, поскольку прямо подчеркивают дисциплинарный характер чтения. Для верификации выводов, сделанных на их основе, следовало бы использовать источники личного происхождения, которые фиксируют рецепцию изучаемых текстов². Сюда можно отнести дневники и письма читателей писателям, которые стали особенно распространенными в XIX–XX вв. В то же время важно различать представление читательского опыта в мемуарах и дневниках. Если в первом случае он носит завершенный характер, причем мемуаристы подчеркивают именно эмансипаторные функции чтения, то дневники дают возможность наблюдать эволюцию читательского «Я»: то, как у читателя менялось отношение к прочитанному, как он работал с идеологическими предписаниями и как конструировал и «вчитывал» свои смыслы в текст. Не менее важными оказываются для исследователей и визуальные источники, репрезентирующие практики чтения в различные эпохи.

Проблематизацию источниковой базы продолжает в своей обзорной главе Дэниел Уо. Обращаясь к раннему периоду истории чтения до XVIII в., он стремится ответить на вопрос: как возможно изучать чтение в этот период? Чтобы его раскрыть, необходимо решить минимум три задачи: установить, *какие тексты* были доступны читателю, *кто* их читал и *как* читатели их использовали? Историк уверен, что наши знания об этой эпохе достаточно фрагментарны, чтобы создать непротиворечивую картину развития читательских практик в Древней Руси и Московском царстве. Не могут нам помочь и количественные методы, поскольку они не работают для определения читательской аудитории в это время, причем количество читателей было явно большим, чем дошедшие до нас списки текстов. Д. Уо, следуя периодизации Л. В. Столяровой и С. М. Каштанова [Столярова, Каштанов 2010: 40–41], выделяет в истории древнерусской книги ранний «церковный» период (до конца XIV в.), который уступает место «церковному и монастырскому» периоду (XV–XVI вв.), и обособляет XVII в. Историк довольно скептически оценивает «формальный объем всех письменных знаний» в ранний период: он, «вероятно, не превышал того, что можно было найти в одной монастырской библиотеке в Византии, и уж точно не было ничего похожего на тот диапазон жанров, к которым мог легко получить доступ образованный византиец» (р. 48). В течение второго периода вместе с распространением бумаги как основного материала для производства книги наблюдается увеличение количества скрипториев и произведенных ими текстов, а также расширение собственно книжного репертуара. В это время появляются четьи сборники, не

² Показательным примером может служить читательская рецепция политического романа Ф. де Фенелона «Похождения Телемака». Следовало бы ожидать, что прежде всего он мог быть прочитан русским читателем с точки зрения тех моральных и политических «наставлений», которые в изобилии содержатся в тексте. Однако отзыв А. Т. Болотова о нем прямо противоположен, даже его явные учебные и дидактические функции («понятие о митологии» и «любопытство к чтению») отступают для читателя на второй план перед эстетическим наслаждением и образным строем текста: «Сладкий пиитический слог пленил мое сердце и мысли [...] и мне она так полюбилась, что у меня старинные брони, латы, шлемы, щиты и прочее мечтались беспрерывно в голове» [Болотов 2013: 93].

предназначавшиеся для литургической практики и составленные для частного чтения. В то же время ко второму периоду можно отнести возникновение первых крупных монастырских библиотек, состав которых хорошо задокументирован и изучен: в частности, библиотека Кирилло-Белозерского монастыря, где в 1480-е гг. был составлен первый известный инвентарь книг в России. Анализ динамики состава монастырской библиотеки позволяет по-новому взглянуть на заочную полемику Г. В. Флоровского («интеллектуальное молчание» Руси) и Д. С. Лихачева («Предвозрождение») [см.: Флоровский 1981: 1; Лихачев 1962] об уровне развития раннемосковской культуры: «энциклопедическое любопытство и коллекционирование кирилловского монаха Ефросина» явно свидетельствовало об интеллектуальном развитии и изменениях в книжном репертуаре, но это не был русский Проторенессанс, так же как Кириллова обитель не была «русской версией Флоренции» (р. 53). Сами практики чтения не выходили за рамки ограниченных монастырскими стенами читательских сообществ, неопровержимых доказательств существования «светских» библиотек у нас нет. Д. Уо прямо выражает свой скепсис по поводу мифической библиотеки Ивана Грозного (р. 64), а умение читать не было до XVII в. безусловной ценностью даже для служилой элиты (сравнение *Della Famiglia* Альберти и «Домостроя», при относительной близости, демонстрирует безразличие московского наставника к чтению, р. 55). Только в XVII в. начинаются важные изменения в области грамотности, которые в том числе были связаны с использованием появившегося в середине XVI в. печатного станка. Значительный процент книг, опубликованных в XVII в., относился к категориям, «связанным с приобретением базовой грамотности», причем эти «буквари», как свидетельствуют материалы Московского Печатного двора, пользовались неизменным спросом. Начиная с этой эпохи уверенно можно говорить и о грамотности московских правителей: царь Алексей Михайлович не только самостоятельно читал и писал, но, по-видимому, владел библиотекой, которую Д. Уо отождествляет с коллекцией печатных и рукописных текстов справочного характера, собранных в Приказе тайных дел и выполнявших утилитарные функции. Собственно, Д. Уо не принимает жесткую дихотомию между «религиозным» и «светским» в древнерусской культуре, так же как анахроничную классификацию книг эпохи согласно современным категориям знаний («история», «география» и т. д.). Так, «Степенную книгу» не следует рассматривать как «историческое произведение», скорее это «княжеская агиография», имевшая определенные политические цели, выраженные религиозным языком. Отсутствие этой дихотомии подчеркивается и при анализе рукописных сборников XVII — начала XVIII в. Эти «четыре сборники» позволяют исследователю приблизиться к фигуре читателя и выявить специфические особенности его чтения. Анализ входящих в сборники текстов (т. н. «литературного конвоя» по Д. С. Лихачеву) позволяет прокомментировать возможные намерения их составителей и переписчиков. Как верно отмечает Д. Уо, к сожалению, большая часть этих сборников «все еще ожидает надлежащего кодикологического анализа» (р. 68). Анализ одного такого сборника, принадлежавшего жившему на рубеже XVII–XVIII вв. вятскому книжнику Семену Попову, позволяет говорить о том, что его составитель совмещал новые и старые представления и не проводил

кардинального различия между религиозным и светским чтением³. Завершая свой обзор, Д. Уо призывает обратить внимание на пересечение устной и письменной культуры, утверждая, что письменные тексты во многом формировались в рамках господства устной традиции трансляции информации и они могли вокализироваться в языке неграмотного большинства.

Глава, написанная Гэри Маркером («Восемнадцатое столетие: от читательских сообществ к читающей публике»), во многом задает проблемный характер всему тому и ставит целый набор важнейших исследовательских вопросов, касающихся изучения чтения в XVIII в. Автор обозначает в названии своей главы доминирующую тенденцию в социальной истории чтения этой эпохи как движение от отдельных читательских сообществ (монастырских, придворных, дворянских и т. д.) к формированию «читающей публики» как социального целого. Эта тенденция вплетена в концептуальное пространство «парадокса де Серто», который подразумевает критику двух противоположных позиций в оценке роли читателя: с одной стороны, полную зависимость читателя от авторитетов, которые определяют, как человек читает и понимает прочитанное («сценарный империализм»); а с другой стороны, неограниченную свободу читателя, возможность независимой интерпретации текста («автономия» читателя). Таким образом, мы каждый раз сталкиваемся с двумя объяснительными моделями, практикующими детерминистские схемы: или дисциплинарность чтения, или творческая автономия читателя. Однако Серто предлагает нам преодолеть этот дуализм: как суммирует Г. Маркер, «история чтения должна одновременно учитывать силу нисходящего сверху предписания и неспособность этого предписания быть абсолютным», соответственно практики чтения необходимо изучать «с помощью документальных свидетельств и без позитивистских атрибутов объективизма» (р. 78). Вообще Г. Маркер обнаруживает в «Изобретении повседневности» Мишеля де Серто тот круг вопросов и тем, которые «прокладывают себе путь через многие, если не все, материалы тома». К таким вопросам он, в частности, относит следующие: насколько совпадают эмпирический материал и концептуальный анализ в изучении чтения? было ли успешным чтение как форма дисциплинирования в эту эпоху? поддались ли читатели дисциплинарным предписаниям, стали ли они их проводниками или переосмыслили их? (р. 79).

Сам автор предлагает ответы на ряд ключевых вопросов, которые связаны не только с историей чтения, но и в целом с историей культуры «долгого» XVIII в. Первый из них связан с проблемой периодизации: был ли хронологический XVIII век в России «новой эпохой», сменой парадигм, или он выступал только продолжением тех процессов, которые начались ранее? Целый ряд историков-«иконоборцев» (Дональд Островский, Рассел Мартин, Нэнси Коллман и др.) все настойчивее предлагают отказаться от хронологической антиномии «Древняя Русь / Российская империя», демонстрируя в своих исследованиях скорее преемственность, чем разрыв между XVII и XVIII в. в истории России. Сам Г. Маркер считает «невозможным представить книжную культуру XVIII века без постоянного обращения к семнадцатому» и подвергает сомнению традиционную

³ Подробнее о С. Ф. Попове (ок. 1654–1715/1717) и его сборнике см. исследование Д. Уо [2003].

концепцию секуляризации как коренного отличия культуры русского XVIII в. Подобно современным западным исследованиям Просвещения, которые возвращают религию в рамки культурной и интеллектуальной жизни эпохи, он подчеркивает «жизнеспособность православия как формы культурного производства на протяжении всего XVIII века» (р. 84).

Автор также обращается к проблеме изучения и интерпретации «визуальных текстов», чьи значения не были зафиксированы их создателями, они всегда присваивались в диалоге с аудиторией, что, впрочем, напоминает и «обычное» вербальное чтение. Г. Маркер предлагает решение этой проблемы в сочетании традиционной искусствоведческой семиотики, с одной стороны, и приемов «насыщенного описания» (в стиле К. Гирца), «глубокой контекстуализации», с другой: для этого необходимо реконструировать «конкретные пространственные, хронологические, социальные и даже индивидуальные условия, в которых аудитории были представлены определенные образы» (р. 86).

Изучение истории чтения невозможно без истории грамотности, и здесь мы сталкиваемся с еще одной проблемой — у нас недостаточно источников для того, чтобы установить достоверную степень грамотности в России до конца XVIII в. Впрочем, имеющиеся данные позволяют говорить о «поразительно низком уровне общей грамотности» в сравнении с другими европейскими странами в эту эпоху, при этом те представители низших сословий, которые научились читать и писать, использовали свои навыки узко утилитарно. К концу XVIII в. грамотность становилась повсеместной среди рядового духовенства (благодаря обязательному обучению в семинариях), подписаться все чаще могли посадские люди, потомственные рабочие и даже отдельные крестьяне, которые были в каждой общине. Именно наличие немногочисленных читающих среди неграмотного большинства вело к особой культуре чтения, которую характеризует «симбиоз текста и устности, публичного чтения и общей неграмотности» (р. 91). Г. Маркер утверждает, что печатный станок и рукописные способы распространения книги продолжили сосуществовать в России XVIII в., дополняя друг друга, например, в сборниках, где рукописный текст переплетался с печатными материалами, печатные книги в это время часто переписывались от руки, а рукописные иногда становились основой для печати. Эти примеры показывают, что чтение оставалось формой культурного производства, а читатель-переписчик стирал границу между чтением и письмом.

Наконец, последняя группа вопросов этой обширной и вдохновляющей главы посвящена проблемам социологии чтения, точнее, тем людям, кто осознает себя в статусе «читателя» и использует чтение для своего удовольствия и размышления. Именно перемены в этих группах читателей, должны, по мнению автора, ответить на вопрос: изменилась ли русская культура в XVIII в. и в чем именно произошли изменения? Маркер определяет читательские сообщества как «группы, объединенные общим материальным пространством или иными специфическими узлами близкого общения, в которых чтение играет важную роль, и которые склонны читать одни и те же произведения и делиться ими между собой» (р. 99). Такие сообщества существовали уже в киевский период и прежде всего были связаны с учеными монахами, которые читали и распространяли между собой рукописи. До конца XVII в. такие сообщества были довольно

ограничены и связи между ними не всегда можно проследить, однако с притоком монахов из украинских и белорусских земель возникает новая сеть читателей, обладающих особым самосознанием, связанных общим образованием, имеющих чувство культурных различий и, главное, состоящих в переписке друг с другом (р. 101). Они часто вступали в доктринальные споры и соперничали, но их объединяла неосхоластическая эрудиция, эпистолярная дружба и интеллектуальные темы переписки. Семиотическим маркером их корреспонденции была полигlossия цитат, которая указывала на их общее образование и культурный капитал. Маркер замечает, что они напоминали «литературную республику» европейской науки раннего Нового времени, но в отличие от нее эта «клерикальная республика» была замкнута сама в себе и не претендовала на публичность высказываний.

Схема развития читательских сообществ в России движется от замкнутых «кружков» интеллектуалов из «монастырских братств» в XV–XVII вв. и «ученой республики» украинских монахов конца XVII — первой половины XVIII в., ставших иерархами русской церкви, к постепенному возникновению более открытых социальных пространств для чтения и читателей в середине XVIII в. Первым из признаков публичности чтения, по Маркеру, становится появление владельческих надписей на книгах, а затем государственных и частных светских библиотек в петровскую эпоху и составление их каталогов, что предшествовало спискам подписчиков, впервые появившимся только в 1750-е гг. Все это, согласно Маркеру, были формы «само-записывания» (*self-inscription*) читателей, претендовавших на публичность и осознанную агентность. Инвентаризации личных библиотек могут выступать «типом публичной или полупубличной репрезентации» ее владельца, который хотел, чтобы его видели определенным образом («само-моделирование читателя»), хотя наличие описи не всегда может выступать свидетельством того, что владелец вообще читал «свои» книги (как, например, безграмотный кн. А. Д. Меншиков, владевший обширной библиотекой), однако это уже было свидетельством «валоризации» чтения и светского читателя в новой придворной культуре.

Списки подписчиков дают нам понимание того, как были связаны конкретные люди с конкретными изданиями, но в последнее время ученые все более критически оценивают возможности этих массовых источников, поскольку исследовательские вопросы сместились скорее в сторону интериоризации чтения и изучения эмоций читателей. Однако потенциал этих источников не исчерпан, поскольку они дают богатый материал для понимания репрезентации чтения в эту эпоху. В частности, представляя подписчиков и издателей как «сообщество читателей-единомышленников», оглашая имена подписчиков, издатели «отправляли двойное послание: одно прославляло издание именами его известных подписчиков, другое — подписчиков как коллективное тело просвещенных покровителей нового достойного интеллектуального начинания, книги или журнала» (р. 108). Как форма артикуляции культурной идентичности (как и ложи, клубы, салоны, общества) списки подписчиков были призваны укрепить идентичность читательского общества в России второй половины XVIII в. В то время читатели — это в основном потомственное дворянство, с редким вкраплением представителей других сословий. В то же время эти списки «исключают целые слои читателей и практики чтения, делая их вновь невидимыми», поскольку

остается неясным: кто читал эти книги и журналы после подписчиков? С другой стороны, списки дают представление о «читающей публике», и Маркер вполне удачно связывает ее с формирующимся «воображаемым сообществом» русской «нации», созданной дворянским истеблишментом, «проецировавшим культурную гегемонию светской элиты, читающей и пишущей публики, которой в значительной степени удалось возглавить многочисленные дискурсы “России”» (р. 110) на рубеже XVIII—XIX вв. Собственно, в этом и было отличие литераторов и «читающей публики» от замкнутых монашеских читательских сообществ: светская элита стремилась к активному социальному участию, «властью над умами», и изначально ориентировалась на публичность:

В кратчайшие сроки эта публика стала определять себя как хранителя национального дискурса и убедила всех поверить в ее статус. Несмотря на внутренние идеологические разногласия и воинственную раздробленность, она практически основала свое царство как пространство, где соперничают идеи и выносятся вердикты (р. 111).

Все это не вполне подтверждает гипотезу о том, что XVIII в. продолжал традиции «Московии»: это, несомненно, была новая эпоха со своим культурным обликом («Дизьютьемисты (Dixhuitièmistes) могут с облегчением выдохнуть», р. 111). Однако чтение в это время вмещало множество неоднородных, асинхронных и разнообразных практик. Роль и значение церковной грамотности, ценность духовной книги в разных социальных слоях, их рукописное копирование во многом обесценивают понятие «секуляризации», ставшей популярной и избитой моделью объяснения перемен в русской культуре. Как замечает Маркер, «история чтения просто опровергает ригидный троп всеохватывающей секуляризации». Вообще Г. Маркер выступает против устойчивых антиномий, которые продолжают некритично применять при описании русской культуры XVIII в.: он не приемлет как радикальное деление на до- и послепетровскую Россию, так и идею о возникновении к концу века двух несвязанных друг с другом культур, европеизированной и традиционной. Их границы были проницаемы: духовенство читало светские книги, а светская элита не отказывалась от церковных книг. Отсюда у Г. Маркера возникает требование к более полицентричной истории чтения, антидетерминистской и антиредукционистской по своей сути, которая не должна «сводить “чтение” к читающей публике и ее эпигонам, а с другой стороны — не поддастся соблазну изобрести (или, возможно, возродить) самозародившуюся, ничем не ограниченную и антиканоническую когорту народных читателей» (р. 112). Однако эта позиция не мешает обратиться к поиску читателя-«чудака» (того самого «еретического читателя» де Серто), который бы «читал и размышлял на стыках культурных потоков, кто смешивал бы старое и новое в своем выборе чтения, религиозное и светское, литературное и литургическое, сатиру и жития святых». Цель подобного поиска не в том, чтобы обесценить значение появившейся образованной публики конца XVIII в., скорее Маркер требует «более текстурированного и неоднородного изображения читателей и читательских практик, которое может обогатить наше понимание того, чем был XVIII век» (р. 113).

Кирилл Осповат в главе «Реформированные подданные: поэтика и политика чтения в России начала XVIII столетия» обращается к изучению неочевидных элементов власти в истории чтения. По его мнению, модерное государство раннего Нового времени видит в чтении мощное средство регулирования поведения подданных, которое позволяет укоренить в обществе необходимые модели социального порядка; даже «чтение ради удовольствия» маркирует жизненный стиль лояльного подданного. Соответственно, «производство, распространение и присвоение письменного дискурса стали основными способами установления и утверждения властного авторитета», причем этот процесс разворачивался в отношении между «осью автор/авторизатор/авторитет» и «аудиторией этих текстов: читателями или “субъектами” текста (т. е. материей, людьми, теми, кто обязан повиноваться)» (р. 117). Здесь автор отсылает нас к названию статьи, где *subjects* — это не только подданные, но и *субъекты* чтения. Три теоретика *дисциплинарной революции* вдохновляют К. Осповата — Норберт Элиас, Герхард Ойстрах и Мишель Фуко, все они видят стоящие за дисциплинированием подданных конкретные корпусы текстов (это, соответственно, руководства по поведению, неостоицистские и меркантилистские/камералистские сочинения). Все эти тексты активно начинают проникать в Россию именно в петровскую эпоху. Но Осповат предлагает рассматривать этот процесс дисциплинаризации не только как целенаправленную государственную политику, подобно Марку Раеву, но и как «особый способ чтения, который, охватывая все больше и больше читателей, подразумевал бесконечную, самоподдерживающуюся культурную динамику саморефлексии и самосовершенствования» читателей (р. 119). Опираясь на идеи Ю. М. Лотмана, автор замечает, что предписания и практика не всегда совпадали в этом процессе, поэтому собственно чтение как «центральная процедура культуры», позволяет нам понять «напряжение между сферой норм и повседневной практикой». Чтение рассматривалось российскими правителями XVIII в. как «готовая техника политической индоктринации», оно делало возможными и одновременно перестраивало и трансформировало те концепции, которые внедрялись на русскую почву. Этот двойственный процесс, собственно, формировал новую фигуру читателя, который не просто будет читать и ментально усваивать идеи, но и жить и действовать согласно прочитанному. Ключевым текстом, указывающим на эти новые практики чтения, является эссе М. М. Хераскова «О чтении книг» из «Полезного увеселения» 1760 г., которое автор приводит целиком в приложении к своей главе. Здесь, устанавливая обязанности «нового» читателя, Херасков демонстрирует недоверие к развлекательным практикам чтения и требует от читателя постоянного стремления к самоусовершенствованию, что должно было вести к отбору правильной литературы для чтения и нормированию поведения читателя еще до того, как он открыл книгу.

Кирилл Осповат прослеживает «эволюции нормативных подходов к чтению» от Петра до Елизаветы, выделяя две основных модели чтения в эту эпоху. Первая модель, «гражданского гуманизма», возникает при Петре, когда новое «светское письмо» присваивает себе функции и значение церковной литературы, в наставлении и регламентации жизни подданных. В это время заимствованный из европейской морально-политической литературы неостоицизма идеал «гражданского гуманизма» выступает как способ воспитания дисциплинированных и

ревностных слуг Отечества. Однако парадокс «гражданского гуманизма» заключался в том, что из его идей вырос не только моральный кодекс строителей абсолютизма, но и тех, кто попытался ограничить власть монарха, наложив на него бремя «Кондиций». Поэтому после поражения «бесславной революции» 1730 г. возникает вторая модель чтения, которая ассоциировала процедуру чтения с частной жизнью и беспрекословным повиновением неограниченной власти монарха, выводя за скобки «вредные» политические рассуждения, и В. К. Тредиаковский выступал провозвестником этой модели в аннинское царствование. В царствование Елизаветы Петровны уже обе модели сосуществуют в придворной литературе, а чтение подданных подчиняется высочайше одобренной гораціанской формуле сочетания «полезного с приятным». В заключение автор показывает, насколько читательские вкусы были обусловлены государственной образовательной и издательской политикой, которая стремилась «определить личный опыт чтения для нескольких поколений русской публики»; правда, он признает, что навязываемая «этика служения», лежавшая в основе этой политики чтения, не вполне поддается измерению: «[...] степень ее успеха нам еще предстоит установить» (р. 146).

Рудольф Боден начинает свой текст («Чтение в эпоху Екатерины II») с программного заявления: «Последняя треть XVIII века, примерно соответствующая периоду правления Екатерины II (1762–1796), ознаменовалась значительными изменениями в практике чтения в России и изменениями в самой русской читательской аудитории». Автор скрупулезно фиксирует быстрые перемены как в самом характере чтения, так и в социальном облике русского читателя этой эпохи: от бума переводной литературы и возникновения независимой издательской индустрии до роста спроса на книги и журналы среди образованного дворянства и появления частных издательств. Важнейшим явлением эпохи, как и Г. Маркер, Р. Боден признает формирование читательской публики. Эта публика не могла появиться без новой системы образования, которая возникает в середине XVIII в. и имеет очевидную тенденцию к росту (от 4 тыс. человек, выпущенных учебными заведениями в 1755–1775 гг. к 371 тыс. в 1800 г.). Все эти люди и составили социальную основу для формирующейся «читающей публики» (р. 151–152). Конечно, ее костяк — это прежде всего дворянство, но уже обладающее автономией по отношению к двору и академическим кругам, хотя, заметим, что эти две институции были тесно связаны: Академия фактически была учреждена при дворе и входила в реестр государственных учреждений. Но в то же самое время появляется новая аудитория — мелкое дворянство и зажиточное купечество, новые сегменты книжного рынка — женская и детская литература, а также специализированные журналы.

Р. Боден отмечает престижный характер потребления книжной продукции в эту эпоху, так, по его мнению, дворянство читало «для того, чтобы соответствовать символическим требованиям, порожденным их растущим самоосознанным культурным статусом» (р. 154). Постепенно ключевым жанром литературы становится роман, появившийся в русской литературе буквально через несколько месяцев после переворота 1762 г., что также свидетельствовало о трансформации практик чтения. Романы в первую очередь предназначались для чтения в одиночестве, этот «новый тип потребления казался угрозой тем формам социального

контроля», которые двор и придворные литераторы выработали в предшествующую эпоху и которые были связаны с публичными формами существования литературы, такими как театр (*драматургия*) и «высокоторжественные» придворные празднества (*панегирик*). Эта эмансипация читателя вела к определенному конфликту «между динамикой роста читателей и либерализацией литературных форм и форм литературного потребления, с одной стороны, и попытками двора и литераторов поддерживать и одновременно контролировать этот общий прогресс, с другой» (р. 156). Процесс постепенного снятия контроля над сферой чтения должен был иметь далеко идущие последствия. Как отмечает Р. Боден, «следующим шагом после предоставления читателям автономии в чтении должна была стать автономия мысли» (р. 176).

Екатерина Кислова в главе «Что, как и для чего читало православное духовенство в России восемнадцатого века» последовательно рассматривает на примере новых источников ряд важнейших вопросов истории чтения в среде духовенства. Начиная с обозначения трудностей, которые возникают при реконструкции круга чтения духовенства, она переходит от «профессиональной» клерикальной литературы, проповедей и духовных сочинений к русскоязычной беллетристике и литературе на иностранных языках. Детально и скрупулезно восстанавливая это пространство чтения клириков, Е. Кислова демонстрирует, что литература, которую они читали, была не просто обширна, но и разнообразна по своему характеру и в значительной степени включала в себя светские книги и журналы. Это еще раз подтверждает тезис Г. Маркера о проницаемости границ между секулярным и светским в ту эпоху и подвергает сомнению концепцию секуляризации, которой слишком часто злоупотребляли историки культуры XVIII в. Выделяя две неравные группы внутри духовенства («современное» и «традиционное»), Е. Кислова дифференцирует их читательские интересы: если первая группа было больше вовлечена в чтение светской литературы, читательские интересы второй менее ясны и с трудом поддаются реконструкции. Автор делает предположение, что после семинарии дети «традиционного духовенства» возвращались в ту же среду, в которой жили их отцы, но они приносили с собой новые книги и знания, которые становились доступными для приходских священников и их окружения.

Е. Кислова полагает, что мы можем реконструировать общую картину того, как и что читало русское духовенство в XVIII в. прежде всего благодаря хорошо сохранившимся материалам семинарий и основываясь на содержании рукописных сборников, принадлежавших представителям духовенства. Но «вопрос “для чего” все еще не имеет подходящего ответа» (р. 216). При этом невозможно отрицать, что духовенство было важной частью формирующегося читательского сообщества и во многом разделяло его интересы и круг чтения.

Андрей Зорин изучает процесс европеизации внутреннего мира аристократической публики в эпоху сентиментализма на примере формирования новых моделей чтения, которые пытаются нормировать русские дворяне-литераторы конца XVIII в. («Читательская революция? Понятие читателя в русской литературе чувствительности»). Зорин, следуя за критикой Р. Дарнтон, подвергает сомнению традиционную концепцию «читательской революции», подразумевающей, что в эпоху Просвещения происходит поворот от «интенсивного чтения»,

для которого было характерно перечитывание одних и тех же авторитетных текстов (прежде всего, религиозных) для углубленного размышления над ними, к «экстенсивному чтению», в основе которого лежало потребление новой бесконечно увеличивающейся печатной продукции, включавшей в себе беллетристику и периодику, предназначенную для развлечения. Дарнтон полагает, что в действительности после 1750 г. новые модели чтения скорее предполагали дальнейшее углубление «интенсивного чтения» в направлении усиления эмоциональной связи текста и читателя. «Век чувствительности», как утверждал Н. Фрай, стремился к созданию «литературы как процесса», которая бы объединяла автора и читателя в рамках одного эмоционального союза, поэтому литература сентиментализма становится «школой чувствительности, в которой читатели обучались искусству адекватной эмоциональной реакции на самые важные и значимые события в их жизни» (р. 220). События в этих текстах показаны «глазами наблюдателя, который вырабатывает нормативную эмоциональную реакцию на них» и заставляет читателя практиковать схожие реакции в своей повседневности.

А. Зорин блестяще демонстрирует, как эта «революция чтения» в ее новом понимании (не как переход к экстенсивному освоению новых объемов литературы, а как интенсификация светского чтения), происходит в России конца XVIII в., где, по его замечанию, «роль литературы как руководства для жизни значительно усилилась в связи с продолжающимися попытками усвоить новые грани западной цивилизации». Эта европеизация жизненных стратегий и практик реализовывалась в том числе и в области усвоения новых эмоциональных образцов. А. Зорин противопоставляет две социальные модели пространства восприятия эмоций в русском Просвещении, связанных с формированием «нового человека»: придворную и масонскую. Первая модель наиболее полно реализовалась в придворном театре, где «аудитория представляет собой своего рода “эмоциональное сообщество”, в котором каждый может сравнить свое собственное восприятие с реакцией аудитории и проверить “правильность” и “адекватность” своих личных чувств» (р. 221). Вторая модель формируется в масонских ложах, где, в отличие от придворного театра, «стратегия нравственного совершенствования была направлена извне внутрь», и русские дворяне обучались «обнаруживать истину внутри себя». Соответственно, в этом социальном пространстве уединенное «интенсивное чтение» стало основным средством «самосовершенствования», этот способ чтения особенно заметен в творчестве Н. М. Карамзина (от его «Прогулки» до «Писем русского путешественника»), пример которого, по мнению А. Зорина «произвел целую революцию в практике чтения». Литератор должен подсказать, научить читателя правильно реагировать на красоты природы или события личной жизни и выбирать подходящее эмоциональное состояние к каждому из них: «[...] авторы того периода играли роль “камертонов”, с помощью которых читатели могли настроить свои сердца и узнать, могут ли они чувствовать правильно и нравиться другим» (р. 223). С уменьшением значения религии в духовной жизни образованной публики в России светская литература и ее чтение стали служить основой для размышлений и переживания «общественных образов чувств». Так, русский пример, по мнению Зорина, доказывает правоту Дарнтона: здесь, как и в Европе, «интенсивное чтение» не исчезает, но переносится из религиозных текстов на светские и приобретает новые формы и смыслы.

В своей главе «Изображение читателей и публики в российских периодических изданиях, 1769–1839 гг.» Белла Григорян исследует эволюцию образа читателя на страницах русских периодических изданий, выходявших на протяжении семи десятилетий. Вопрос о репрезентации публики в прессе исследователи не соединяют с изучением того, как каждое издание «рассказывают историю о постепенном формировании российской культурной середины», которая понимается сразу в нескольких значениях («как демографическая категория, как потенциальный политический опыт или его обозначение»), но прежде всего как особый культурный регистр (р. 235). Журналы, изображая свою аудиторию на протяжении всего этого периода, стремились не только показать различные формы публичности, но и включить в них читателя. При этом, по замечанию автора, «чтение и сопутствующая ему культура участия становятся все более демократичными». Таким образом, Б. Григорян исследует не саму публику, а ее репрезентацию в прессе и, соответственно, элементы публичного дискурса, такие как понятие «среднего читателя» и описания его политической принадлежности, которые следует понимать как «риторические симулякры». Ключевыми понятиями для автора, как уже было отмечено, являются понятия «середина» и «средняк». Это позволяет осмыслить, как «симуляция активной средней читательской аудитории на страницах российских имперских периодических изданий» может описать «контуры и параметры российской дополитической публичной сферы» и в определенной степени дает основания «пересмотреть научные предположения о связи между печатным капитализмом и либерально-демократической политической культурой» (р. 237).

Исходя из положения о том, что «все тексты обладают способностью формировать свою аудиторию», Б. Григорян демонстрирует, как русские периодические издания занимаются дискурсивным формированием своего читателя и читательского сообщества, представлявшего «середину» российского общества, для которой они пишут и к которой апеллируют. Этот «средний» читатель почти всегда предстает как часть любознательной, активной и социально разнообразной публики, но если в 1760-е гг. это была скорее воображаемая конструкция, то к 1830-м гг. она приобрела определенное социальное воплощение и характерные узнаваемые черты.

Возможно, самые необычные формы чтения исследует Саймон Франклин («Чтение улиц: встречи с общественной графосферой, 1700–1950 гг.»), обращаясь к изучению изменений «городской графосферы» как способов пространственного чтения визуальных и вербальных знаков. Под *графосферой* автор понимает «совокупность графических приемов, используемых для записи, хранения, отображения и распространения сообщений и информации, а также социальные и культурные пространства, в которых они фигурируют»⁴, и его, прежде всего, интересуют встречи читателя с письменным словом на столичных улицах в трех разных временных точках: петровской Москве, николаевском Петербурге и советских городах 1920–1930-х гг. Все три эпизода построены вокруг соотношения

⁴ См.: [Franklin 2011: 531]. Графосфере посвящена и последняя вышедшая монография С. Франклина [Franklin 2019], относительно недавно опубликованная на русском языке [Франклин 2020].

«публичного письма» (т. е. самих уличных надписей) и «текстов для читателей» (тех, что разъясняют существующие городские формы «публичного письма»). Все три эпизода представляют три основные фазы в развитии публичных форм демонстрации вербального в России: от первых попыток систематизации городского пространства при Петре I через «период диверсификации коммерческой городской текстuality» второй четверти XIX в. к раннесоветским проектам новой систематизации и стандартизации городских надписей в 1930-е гг.

Петровские триумфальные арки были «текстами» на практически неизвестном в России «языке», который требовал определенной культурной базы: чтобы «прочитать» триумфальную арку нужно было и обладать знанием древних языков, и быть знакомым с визуальными и вербальными толкованиями эмблем. Кроме внешнего великолепия это зрелище требовало дешифровки, обучению тому «языку», на котором со зрителем говорили изображения и надписи триумфальной арки. Для этого были созданы и опубликованы специальные пояснения, составленные, как правило, преподавателями Славяно-греко-латинской академии. Но сами эти описания были сложно построены и наполнены «многоязычной риторикой», в них не было даже намека на интеллектуальные уступки непросвещенному зрителю, отсюда у С. Франклина возникает резонный вопрос, вызывающий вполне однозначный ответ: «[...] для кого писались такие описания? Конечно же, не для широких масс». Однако постепенно триумфальные арки становятся привычной частью городского ландшафта столиц:

Странные и эзотерические в эпоху их появления, украшенные и расписанные триумфальные арки стали в последующие десятилетия традиционными и привычными, наряду с фейерверками, формами демонстрации публичных ритуалов имперской власти (р. 268).

Впрочем, ограниченность источников этой эпохи не позволяет интерпретировать то, как представители разных социальных групп самостоятельно читали эти тексты, какие смыслы они придавали образной системе триумфальных арок. В отличие от имперских памятников петровской эпохи, уличные вывески магазинов и реклама, заполнившие городское пространство в XIX в., повлекли за собой возникновение совершенно иных «читательских текстов»: это были хорошо артикулированные отклики на «публичное письмо» со стороны тех, «кто не играет никакой роли и не заинтересован в процессах его производства» (писатели, публицисты, журналисты). Третий эпизод, связанный с революционными изменениями «уличного письма» в России, был вызван переходом от «городской графосферы, создаваемой частным предпринимательством, к городской графосфере, конструируемой государством» (р. 281). Коренной перелом в этой трансформации, по мнению исследователя, приходится на начало-середину 1930-х гг., когда политическое довольно быстро вытесняет из городского пространства коммерческое, регулируя и ограничивая его использование в «графосфере».

Подводя итоги, стоит заострить внимание на тех дискуссионных вопросах, которые были подняты в рецензируемом томе в текстах разных авторов, и, как кажется, остаются центральными для истории чтения в России XVIII в. Первый из них связан с проблемой разрыва и преемственности культуры чтения в

течение «долгого» восемнадцатого века. Несомненно, что русский XVIII век отмечен заметными переменами в практиках чтения, что демонстрируют в своих разделах Г. Маркер, К. Осповат, Р. Боден, А. Зорин, однако эти трансформации как в книжном репертуаре, так и моделях чтения прежде всего приходится на вторую половину века и связаны с довольно ограниченным кругом зарождающейся «публики». В то же время, преемственность с московским прошлым сохраняется как в широко распространенной рукописной традиции как способе производства, распространения и чтения книги, так и в преобладании неграмотного большинства, продолжающего получать информацию из вокализированного чтения или доступных визуальных образов. Д. Уо, Г. Маркер, Е. Кислова убедительно показывают, что светская и религиозная литература для русского читателя XVIII в. не были принципиально разделены и во многом имели равное значение, соединяясь под общим переплетом сборников, что позволяет сомневаться в действенности концепции секуляризации как объяснительной модели культурных трансформаций в эту эпоху. В России XVIII в. присутствовали не только разные читательские сообщества, из которых формировалась читающая публика, но и одновременно сосуществовали самые разные модели чтения и типы читателей: от образованных потребителей печатных книг и журналов (А. Зорин, Б. Григорян) и составителей рукописных сборников (Д. Уо, Е. Кислова) до полуграмотных городских обывателей, разглядывающих изображения и транспаранты триумфальных арок (С. Франклин). В это время читатель начинает активно интересоваться не только правительством, но и литераторов, о чем свидетельствует интересование образов читателя в журналах и попытки управлять их чтением (Б. Григорян, Р. Боден), или даже нормировать практики чтения издателями и писателями, которые предписывали читателям образцы поведения и необходимых чувств, которые они должны были испытывать как во время чтения, так и в важные моменты своей жизни (К. Осповат, А. Зорин).

Отсюда вытекает следующий вопрос, во многом опосредованный несоответствующими теоретическими рамками исследований, представленных в томе (где зачастую дискурсивной практике М. Фуко противостоит конструктивизм М. де Серто): было ли чтение в России XVIII в. существенной частью политики дисциплинаризации или все-таки формой эмансипации общества? Исследователи практически на одном и том же материале (источники некоторых статей, что не удивительно, во многом совпадают) приходят к противоположным выводам: с одной стороны, мы видим формирование лояльной абсолютизму читающей публики (К. Осповат), а с другой, наблюдаем, как двор проявляет недовольство эмансипирующимся дворянством и кругом его чтения (Р. Боден). Важным показателем этого несоответствия становятся практики индивидуального и публичного потребления текстов: Р. Боден и А. Зорин подчеркивают, что новые жанры литературы (в первую очередь, роман, в котором классицисты видели угрозу общественному порядку), позволяли читателю в отличие от зрителя придворного театра уходить от властного контроля и самостоятельно наделять текст смыслами. Но подобное «еретическое чтение» существовало и ранее, на что недвусмысленно указывают Д. Уо и Г. Маркер, оно было связано с тем, что потребитель и производитель рукописной литературы был зачастую одним и тем же человеком: составитель сборника был его переписчиком и читателем, и тогда процессы письма и чтения

совпадали. Следует добавить, что и до эпохи сентиментализма чтение романа было обычной практикой: так, например, *staatsroman* появился в России еще в 1720-е гг., когда были сделаны переводы двух выдающихся образцов жанра — «Аргениды» и «Телемака», и он также предполагал уединенное «кабинетное» чтение. В этом отношении, кажется, не столько индивидуально чтение, сколько содержание новых романов вызывали критику классицистов. В тоже время мы не так много знаем о читателях первой половины XVIII в., об их впечатлениях от чтения и еще довольно плохо понимаем особенности их восприятия новых текстов, не имевших предшествующей традиции в древнерусской литературе.

Завершая свой обзор, мне хотелось бы рекомендовать рецензируемую книгу всем, кто интересуется русской историей и культурой XVIII в., как источник не только новой информации, но и оригинальных вопросов для размышлений и научных разысканий. Это действительно важное и насыщенное идеями исследование открывает новые горизонты для ученых. Несомненно, что представленный том стал значительным шагом в изучении истории чтения в России, благодаря которому зыбкая и едва уловимая фигура русского читателя XVIII в. становится все более осязаемой и приобретает вполне различимые контуры.

Библиография

Болотов 2013

Болотов А. Т., *Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанная самим им для своих потомков*, в 3-х томах, 1, Москва, 2013.

Кавалло, Шартье 2008

История чтения в западном мире от Античности до наших дней, ред.-сост. Г. Кавалло, Р. Шартье; перев. с франц. М. А. Руновой, Н. Н. Зубкова, Т. А. Недашковской, Москва, 2008.

Лихачев 1962

Лихачев Д. С., *Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого (конец XIV – начало XV в.)*, Москва; Ленинград, 1962.

Столярова, Каштанов 2010

Столярова Л. В., Каштанов С. М., *Книга в Древней Руси (XI– XVI вв.)*, Москва, 2010.

Уо 2003

Уо Д. К., *История одной книги. Вятка и «не-современность» в русской культуре Петровского времени*, С.-Петербург, 2003.

Флоровский 1981

Флоровский Г. В., *Пути русского богословия*. Второе изд., с предисловием прот. И. Мейендорфа и индексом имен, Paris, 1981.

Франклин 2020

Франклин С., *Русская графосфера, 1450–1850*, перев. с англ. Т. В. Ковалевской, С.-Петербург, 2020.

Certeau 1990

Certeau M. de, *L'Invention du quotidien*, 1, Arts de fair, Paris, 1990

Franklin 2011

Franklin S., Mapping the Graphosphere: Cultures of Writing in Early 19th-Century Russia (and Before), *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 12 (3), Summer 2011 (New Series), 531– 560.

 2019

Franklin S., *The Russian Graphosphere 1450-1850*, Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

Rebecchini, Vassena 2020

Rebecchini D., Vassena R., eds, *Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia*, 1, Milano, Università degli Studi di Milano, 2020.

References

Bolotov A.T., *Zhizn' i prikluycheniya Andreya Bolotova, opisannyya samim im dlya svoikh potomkov*, in 3 vol., 1, Moscow, 2013.

Certeau M. de, *L'Invention du quotidien*, vol. 1, Arts de fair, Paris, 1990.

Florovskiy G.V., *Puti russkogo bogosloviya*. Vtoroye izd., s predisloviyem prot. I. Meyendorfa i indeksom imen, Paris, 1981.

Franklin S., Mapping the Graphosphere: Cultures of Writing in Early 19th-Century Russia (and Before), *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 12 (3), Summer 2011 (New Series), 531–560.

Franklin S., *The Russian Graphosphere 1450-1850*. Cambridge, Cambridge University Press, 2019.

Franklin S., Kovalevskaya T. V., transl., *Russkaya*

grafosfera, 1450–1850. St. Petersburg, 2020.

Kavallo G., Shartye R., eds, *Istoriya chteniya v zapadnom mire ot Antichnosti do nashikh dney*; translated by M.A. Runova, N.N. Zubkov, T.A. Nedashkovskaya, Moscow, 2008

Likhachev D. S., *Kultura Rusi vremen Andreya Rubleva i Epifaniya Premudrogo (konets XIV – nachalo XV v.)*, Moscow; Leningrad, 1962

Rebecchini D., Vassena R., eds, *Reading Russia. A History of Reading in Modern Russia*, 1, Milano, Università degli Studi di Milano, 2020.

Stolyarova L.V., Kashtanov S.M., *Kniga v Drevney Rusi (XI-XVI vv.)*, Moscow, 2010.

Waugh D.C., *Istoriya odnoj knigi. Vyatka i "ne-sovremennost" v russkoj kulture Petrovskogo vremeni*, St. Petersburg, 2003.

Сергей Викторович Польской, кандидат исторических наук,
доцент Школы исторических наук
факультета гуманитарных наук
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»;
старший научный сотрудник
Центра по изучению XVIII в.
Института всеобщей истории РАН
127051, Москва, Старая Басманная ул., д. 21/4, стр. 3
Россия / Russia
spolskoy@hse.ru

Received November 3, 2022